

Нечаев

Любители прошвырнуться по красноярскому «Броду» начала семидесятых запомнили его надолго. Живописный мужчина. Он казался огромным, хотя роста был чуть выше среднего, но широкие плечи, выпирающий живот, крупная голова с кудрявой шевелюрой и мощная рыжая бородаща добавляли внушительности. Кстати, бородастые в те годы встречались довольно-таки редко.

Расстояние от Дома художника до кафе «Мороженое» (в народе «Сосулька») — около километра, там его можно было встретить чаще всего. Шествовал в окружении свиты и что-то рассказывал — скорее всего, нечто интересное, потому что слушали внимательно.

Второе обиталище — беседка в городском саду, там он играл в шахматы. Обязательно на деньги. Впрочем, прогулки по «Броду» тоже были поиском денег, вернее, людей, которые могли бы их дать или купить бутылку, а свита подбиралась для расширения зоны охвата: не один, так другой мог встретить полезного знакомого. Если случайным прохожим запоминалась всего лишь колоритная внешность незнакомца, то завсегдатаи шахматной веранды знали, что зовут его Николай, что он зять поэта Рождественского (некоторые так и звали его — Рождественским), и работает он то ли в газете, то ли в театре, то ли писателем. В шахматы играл он средненько, но темпераментно, в спорной ситуации мог и доской по голове ударить.

Ещё до знакомства я был наслышан о его питерских и московских похождениях, дурманящих наши провинциальные мозги звучными именами: Володя Высота, Маринка Влади, Юлик Семёнов... Влади, по его словам, единственная женщина, которая умела красиво пить водку, без резких движений и громких выдохов выпивала рюмку, потом отламывала кусочек чёрного хлеба, посыпала солью и невозмутимо заедала. Семёнов, сын репрессированного в тридцать седьмом еврея, набил морду какому-то партийному чиновнику за то, что дурно отозвался о его отце. Мог получить срок, но с помощью влиятельного родственника устроился в мур, после чего появилась «Петровка, 38», а начинал лирическими рассказами в стиле Юрия Казакова. Может, даже и не уступая ему. Не знаю, существовал ли избитый партийный чиновник;

спустя много лет я прочитал, что знаменитый автор политических детективов действительно был осуждён в молодости за случайное убийство на охоте. Когда я слушал нечаевские истории из вторых (если не пятых) уст, я не очень-то верил в них, но, послушав самого Нечаева, понял, из чего растут сомнения. Естественно, что для глубокого провинциала сама возможность близкого общения с обитателями Олимпа казалась невероятной. Но загадка пряталась в другом. Всем чужим пересказам мешало отсутствие природной силы убеждения, в которой играючи купался Нечаев. Его напористость подавляла слушателя, лишала способности к сопротивлению. Не сомневаюсь, что у него был гипнотический дар. Он не просил, он требовал. Подходил, говорил: «Дай три рубля», — и ему не отказывали, отдавали, зная, что никогда не вернёт. Говорил женщине: «Приходи». Оскорблённая наглой бесцеремонностью, она возмущалась. А потом всё-таки приходила.

Одна интеллигентная дама рассказывала. К ней приехала однокурсница откуда-то из-за Урала. Случайно встретились на улице с Нечаевым, разговорились. Она заметила, что патентованный бабник распускает хвост, и предупредила подругу, что с ним надо быть осторожной. Подруга рассмеялась и успокоила: дескать, этот пузатый, неопрятно одетый мужлан абсолютно не в её вкусе, ей и стоять-то с ним неприятно, каким бы интеллектуалом он ни был. Поговорили и разошлись. А потом подруга потерялась почти на неделю. А когда нашлась, поведала, что Нечаев уболтал-таки её заглянуть в гости к знакомому актёру, у которого есть книга Цветаевой, знаменитый том, выпущенный в «Большой библиотеке поэта». Квартира оказалась пустой. Цветаевой на полке не было. Нечаев убеждал, что друг явится с минуты на минуту, а книга, по всей вероятности, лежит в укромном месте, чтобы не искушать гостей. Когда она, не дождавшись, собралась уходить, он выкинул в окно её сарафан. Потом, оправдывая подругу, дама, кокетливо усмехнувшись, пояснила: «Не дефилировать же голой по городу?!» Одежду, чтобы выпустить пленницу, он без малейшего колебания позаимствовал в гардеробе хозяев квартиры. Хорошо, что пленение выпало на лето:

выбрасывать пальто или шубу он бы, пожалуй, не рискнул. А впрочем, как знать?

В поиске опохмелки он забрёл ко мне в общежитие. Потом вахтёрша жаловалась: «Я его спрашиваю: к кому? А он зыркнул на меня: твоё какое дело? к кому надо, к тому и иду!— и даже не остановился. Страшный, как бандит, но выходка, как у большого начальника,— жалуется, и непонятно, чего больше в голосе— возмущения или восхищения.— Надо бы остановить его, а я, окаменевшая, молчу. Так он бандит или начальник?» На всякий случай сказал, что приходил артист. И она меня зауважала, артистов в нашей «кошаре» ещё не было.

Пока работал завлитом в тюзезе, взялся инсценировать астафьевскую «Кражу». Сдачу спектакля жестоко тормозили. В общем-то ординарная по тем временам ситуация, когда начальникам культуры в каждой реплике мнится подвох, требуют изменений, а внятно выразить претензии не могут. Наше классическое «иди туда— не знаю куда, принеси то— не знаю что». Бесконечные придирки, они и трезвенника вышибут из колеи. Нечаев, естественно, запил. Когда премьеру всё-таки разрешили, он вышел на сцену пьяный, в мятых штанах с расстёгнутой шириной и вроде как с перьями в бороде. Кто-то передал ему, что пьеса Астафьеву не понравилась, что, в общем-то, вполне естественно, авторам редко нравятся чужие инсценировки, но Нечаева это возмутило. Ему, мянцему себя воспитанником питерской культуры, автор повести, напечатанной в «Сибирских огнях», казался рядовым провинциальным писателишкой, и успех пьесы он приписывал только себе. Дошло ли это до Астафьева— не знаю. Скорее всего, не донесли, иначе вряд ли назвал бы классик в примечаниях ко второму тому собрания сочинений постановку в Красноярском тюзезе наиболее интересной.

Встречались мы нечасто. Моя работа не давала засиживаться в городе. И вот возвращаюсь я после двухмесячного пребывания на гостеприимном дальневосточном руднике. Почта мне приходила «до востребования». Иду в надежде получить гонорар. Выясняю, что его присылали, он пролежал месяц и отправился назад. Газетный, копеечный. А всё равно обидно. Вышел на улицу, курю. Слышу, кто-то окликает. Оглядываюсь и вижу Нечаева. — А не выпить ли нам по случаю мерзкой погоды?— говорит он.

Настроение у меня испорченное, и я в сердцах заявляю:

— Неэтично предлагать выпить, если у тебя нет денег.

Но на этот раз они у него почему-то были. Целых пять рублей. И он хищно помахал бумажкой у меня перед глазами.

— У меня тоже есть червонец.

— Тогда пошли в «Север».

«Север»— ближайший ресторан к почте, но выбор его диктовало другое: вынужденный выпивать в подворотнях, Нечаев любил продемонстрировать окружающим бывшую привычку к шикарной жизни, хотя в «Севере» на пятнадцать рублей не разгуляешься. Однако в солидное заведение нас не пустили, якобы не было мест. Нечаев нахмурился и барственно, отеческим голосом, потребовал: — А позови-ка, братец, метрдотеля. — Кого? Может, тебе самого Федирку позвать? Он сегодня здесь отдыхает.

Ушлый швейцар, конечно, врал. Крайкомовского вождя в заведении не было. Просто показывал, что его на арапа не возьмёшь.

Советские халдеи знали себе цену и умели разбираться в клиентах. Можно было сунуть ему в лапу, только лишней трёшки у нас не имелось. Но дело даже не в деньгах. Проверенный трюк не получился, и Нечаев почувствовал себя уязвленным. Проигрывать при свидетелях он не любил и разразился тирадой против советской власти, которая сделала тупых холуёв хозяевами жизни.

Пришлось идти в «Сибирь», ресторан, который в народе назывался «Рыло». Возле железнодорожных касс догнали мужичонку с большим облезлым чемоданом.

— А ну-ка подожди!— властно окликает Нечаев.

Мужичонка останавливается, опускает чемодан на тротуар и пугливо оглядывается.

— Куда направление держишь?

— Домой

— Адрес?

— На Калинина живу.

— Номер дома? Квартира?

— Общага там.

— «Угол» чем набит?— включает «феню» явно для куража и остратки.

— Бельё из прачечной.

Нечаев пинает чемодан, из него раздаётся бутылочный перезвон.

— «Пушнина»?

Перепуганный мужичонка, явный бич, мычит что-то нечленораздельное.

— Ты бы хоть врать научился. Пора бы уже при твоём образе жизни. В общагах бельё меняют кастелянши.

— Да я опоздал...

Нечаев поворачивается ко мне и говорит якобы официальным тоном:

— Товарищ лейтенант, отойдите, пожалуйста, мне тут с гражданином посекретничать надо.

Я перехожу на другую сторону тротуара. Наблюдаю. Нечаев сменил напористость на заговорщицкий полушёпот. Жертва молчит, соглашаясь, кивает головой и лишь изредка повторяет:

— Ага. Понял.

Внушение тянулось минут пять, но на морозе показалось значительно дольше. Потом он

рассмеялся и позвал меня, но продолжал обращаться к бичу:

— Надеюсь, не подведёшь?

— Да что вы, как можно?..

— Вот и хорошо, по этому случаю и выпить не грех.

— А у вас есть?

— Пока нет, но найдём.

— Может, аптечного спирта? Я знаю, где можно взять. Тут недалеко, возле бани,— воспрянул бич, осознавая свою полезность.

— Как не стыдно?! Мы же серьёзные люди.

Принять двух бородатых мужиков за сотрудников силовых органов можно было только с большого перепугу, но Нечаев сумел внушить не только страх, но и уважение.

— А можно, я буду тебя профессором звать?

— Можно, если не злоупотреблять. Ориентируйся по обстановке.

Мы подошли к ресторану. Бич замешкался.

— А с чемоданом пустят?

— Нет, конечно, с таким облезлым.

— Куда его?

— Неси на вокзал в камеру хранения.

— Это же далеко, пока бегаю, вы уйдёте.

— Да выбрось ты этот несчастный «угол». Кому он нужен?!

— Пойду во дворе посмотрю, где затырить, может, ещё сгодится. Только вы не лияйте, я расторопно.

— И зачем он тебе?—спросил я, когда остались одни.

— Рассказ о нём напишу. Кстати, утром закончил довольно-таки остренькую вещицу. Если сумею напечатать, получится бомба, но сначала надо отшлифовать. А этого кадра я в осведомители завербовал. И он не побрезговал стать стукачом, но сразу поинтересовался гонораром. Получается, что не только интеллигенция у нас прогнила.

Мы не успели докурить, а бич уже вернулся.

— Я его возле мусорного бака пристроил. До утра туда никто не пойдёт.

— Кого пристроил?

— Чемодан.

— Господи! Сколько можно? Чтобы я о нём больше не слышал.

Вечер был будничным, треть столиков пустовала, и, уж совсем на удивление, официантка в открытую разносила пиво. По тем временам для Красноярска это считалось большим везением. Нечаев предложил начать с пивка. Ресторанишко был весьма обшарпанный, но для продрогшего бича и это казалось роскошью.

— Хорошо здесь, тепло.

— Ты только лишнего не болтай, больше прислушивайся. Здесь, в «Рыле», по вечерам вся воровская верхушка собирается. Приходи и запоминай.

— Обязательно. У меня память хорошая.

— Ясное дело, марксистско-ленинской философией не перегружена. Свободного места много.

В том, что бич вряд ли когда окажется в этом ресторане ещё раз, были уверены и тот, и другой, но Нечаев продолжал наставления, а бич терпеливо слушал и поддакивал, украдкой поглядывая на стакан в ожидании очередной добавки, но «профессор» держал паузы, рассчитывая досидеть до закрытия.

Когда вводный инструктаж закончился, размлевший от пива бич послушно молчал, но оказалось, что и нам не о чем говорить. Не пускаться же при нём в литературные разговоры? Тишина за столом быстро надоела, и Нечаев спросил:

— А ты в шахматы умеешь играть?

— Конечно, умею. Я десять классов закончил,— обиделся бич.— У нас в школе каждый год турниры проводились, таблица на стене висела. Один раз я четвёртое место занял, пол-очка не хватило до третьего. Не верите?

— Верю.

— Нет, в натуре...

— Да верю, верю. Давай сыграем.

— А шахматы где взять? Может, у официантки?

— Зачем? Будем играть по памяти.

— Как это?

— Элементарно. Я делаю ход пешкой: Е-два—Е-четыре. Теперь ты ходи.

— Так шахмат-то нет...

— Я же сказал: по памяти. Запомнил мой ход?

— Запомнил: Е-два—Е-четыре. А дальше как?

— Как хочешь. Делай ответный ход.

— А чем?

— Любой фигурой, можешь даже конём сходить, буквой «Г».

Бич испуганно втянул голову в плечи, а рука машинально потянулась к пустому стакану.

— Ладно, выпей для смелости,— Нечаев плеснул ему пива,— и делай свой ход.

— Так доски-то нет. Куда я пойду?

— А ты её вообрази, представь, что она перед тобой на столе.

— Бутылки мешают.

— Не смотри на них.

— Как на них не смотреть?!

— Нет, братец, чувствую, что игры у нас не получится, выпей на посошок и канай в свою берлогу, а нам с лейтенантом надо кое-какие детали обсудить.

Бич тоскливо посмотрел на последнюю, ещё не открытую, бутылку. Нечаев перехватил его взгляд и сердитым приказным тоном поторопил:

— Ступай, ступай себе с Богом,— а когда тот поднялся и понуро отошёл от стола, Нечаев окликнул его и, не поворачиваясь, протянул бутылку:— Вот тебе аванс, и помни наш уговор: теперь тебе надо внимательно слушать и хорошо запоминать. Каждую пятницу приходи сюда в семь вечера, будешь рассказывать.

— А если меня не пустят сюда?

— Жди у парадного.

Уходил он торопливо и с явным облегчением. — Утомил. Теперь можно и водочки принять.

Ресурса у нас хватило на триста грамм. Пока ждали, он вкратце пересказал сюжет написанного ночью рассказа. История произошла в городском парке в День Победы, в начале семидесятых. Подвыпивший ветеран с иконостасом юбилейных медалей придрался к девчонке в короткой юбке. Девчонка была с парнем, и тот, естественно, вступился за неё. Одёрнул мужика, тем более что ветеран выглядел моложаво. Слово за слово... Но первым ударил ветеран. Милиции по случаю праздника и солнечного дня было много. Драке разгуляться не дали. Парня быстро скрутили. Девчонка бежала за ним до машины, потом вернулась к доблестному ветерану и стала упрашивать забрать заявление. Мужик согласился с условием: если она ему даст. И девчонка пошла с ним в кусты, потому что в квартиру вести он не мог, там была жена. Заканчивался рассказ сценой около милиции. Ветеран смотрит, как девушка прижимается к спасённому парню, и советует ему держаться за такую надёжную подругу обеими руками. Закончив пересказ, Нечаев уточнил, что в первом варианте ветеран после долгих колебаний открывает парню, какой ценой досталось ему освобождение. Этот вариант пока ещё не вычеркнут, но теперь, пока мне излагал, понял, что слишком закрутил, нельзя сгущать краски. Придёт домой и сразу вычеркнет.

Подобные тексты в те годы писались только «в стол». Хотя многие спекулировали на военной теме, но такое не взял бы ни один советский журнал. Нечаев для того и озвучил его, чтобы показать полное неприятие конъюнктуры. Пересказал, но, спохватившись, стал вспоминать упущенные детали, заверял, что обязательно доведёт его до блеска. Говорил страстно и убедительно. Было видно, что и самому рассказ очень нравится.

Потом я ни разу не слышал об этом рассказе, и сомневаюсь, был ли он вообще перенесён на бумагу.

Когда официантка наконец-то принесла наши триста грамм, он налил две рюмки и пошёл с ними к соседнему столу. Высмотрел знакомого. Присел на свободный стул и вроде как забыл обо мне. Сижу, наблюдаю. У них там оживлённый разговор, Нечаев поднялся и сказал тост. Мужики смеются. Я подошёл и сказал, что ужоу. Нечаева отпустить не хотели, велели нести стул и присоединяться к ним. Я взял свой жалкий графинчик и переселился за стол с обильной закуской и выпивкой.

В то время он жил с Ольгой, актрисой кукольного театра, худенькой, некрасивой, но умеющей терпеть, потому что сожительство их затянулось на год. Если не дольше. Из Красноярска они перебрались в Улан-Удэ. Можно сказать, сбежали от собутыльников, от устоявшейся репутации, и там, по словам Ольги, сложилось всё хорошо. Нечаев устроился

в молодёжную газету, не пил и, учитывая его квалификацию, стал в редакции лучшим пером. Успех, даже небольшой, прибавляет уверенности в себе. В его случае имеется в виду не профессия, здесь он всегда был уверен, даже более того. В Улан-Удэ он поверил, что может держать себя в руках, и оценил несомненные удобства трезвой жизни. Только натура его и амбиции не уместались в интересы заштатной молодёжной газетки. Окреп, и захотелось большего — центральных газет, солидных журналов. А в Ленинграде жила мать. Было где остановиться на первое время, остались полезные знакомые, которые могли помочь с работой. И помогли. Не пришлось ничего доказывать, без лишней проволочки начал печататься. А в те годы оплачивалось каждое напечатанное слово. Но случайные заработки коварны. Они провоцируют их обмыть... И трезвой паузы словно не бывало. Да и жить с матерью взрослому человеку, привыкшему к вольнице, очень не просто. Ольга не выдержала и уехала в Красноярск. Потом возвратился и он. Однако жили уже порознь. Женщина устала, разуверилась. Пришлось ему искать другой приют. Знакомые передавали, что нашёл, хотя больному и пьющему это непростое.

Умер он в больнице от цирроза печени. После возвращения из Ленинграда мы не встречались. Видел его один раз издали, но шёл я с молодой женой, испугался, что он ударится в воспоминания, которые ей противопоказаны, и трусливо свернул в переулок.

Когда кто-нибудь из местных сочинителей попадал в «Литературную газету», новость разлеталась по городу в два-три дня. Кто-то из друзей позвонил и сказал, что там появился очерк Зория Яхнина о бичах. Я очень удивился и спросил: что может знать о них городской интеллигентный поэт? Вот Коля Нечаев смог бы написать о бичах. И тут меня огорошили, доложили, что именно Нечаев и является главным героем этого очерка. Не знаю, чья была инициатива, скорее всего, газета попросила что-нибудь из сибирской экзотики, а Яхнин за неимением материала воспользовался тем, что перед глазами. Естественно, нашлись возмущённые: дескать, опозорил человека. Хотя лично я ничего оскорбительного в этом не вижу. У нас в пусконаладочном управлении даже ведущие инженеры называли себя «бичами», а своё общежитие — «кошарой». Смещение статуса я воспринял без малейшего внутреннего протеста. А вот родственников очерк не просто обидел — оскорбил. Его сын Антон, будучи уже взрослым человеком, поэтом и лауреатом премии, так и не мог простить Яхнина за то, что в школе кто-то обозвал его сыном бича. Хотя отца практически не знал, в лучшем случае видел несколько раз в детсадовском возрасте, однако сумел унаследовать сложный характер. Незаживающую обиду носила

в себе и последняя жена Ольга. Уже после смерти самого Яхнина она призналась, что все годы выжидала случая сотворить ему какую-нибудь подлянку. А следом сказала, что после Николая у неё остался чемодан рукописей, которые просило у неё издательство, а она послала их далеко-далеко. Издательский звонок, разумеется, очень вольная фантазия любящей женщины, не знающей редакционных нравов. Тогдашние издатели были обеспокоены не поиском рукописей неизвестных авторов, а избавлением от них. И в самом наличии архива я глубоко сомневаюсь. Сколько этих мифических чемоданов потерялось, сгорело или, в лучшем случае, уместилось в тоненькую книжницу.

В случае с Нечаевым боюсь, что не осталось даже тетрадки, потому что и для неё прозаику нужны письменный стол и трезвая пауза. Ни того, ни другого у него не было. Всё сочинённое им осталось в блестящих устных импровизациях, а силы и время потрачены на дежурные газетные заметки и поиски денег на опохмелку.

Медаль

Заглянул в книжный магазин и увидел на прилавке сборник Николая Клюева, а денег с собой не было. До работы ехать далеко, до дома — ещё дальше. Просить, чтобы оставили на денёк, очень рискованно. Клюева не издавали с тридцатых годов. Если бы продавщица знала, кто он такой, сразу бы определила под прилавок. Надо было срочно выкупать. Вспомнил, что через улицу работает знакомый. Повезло. Оказался на месте. При деньгах. И книга дождалась.

На другой день с утра явился на работу, сдал отчёт по командировке, получил зарплату и поехал отдавать долг. Кредитор был не из близких друзей, довольно-таки щепетильный, если не сказать — занудный, так что злоупотреблять доверием было нежелательно. Расплатился и с лёгким сердцем решил попить пивка. Полтора месяца проторчал в командировке, где пива не было и было не до пива. К такому празднику и рыбки из дома прихватил.

В центре города я знал три относительно надёжные пивные точки: буфет Дома офицеров, буфет «Крайпотребсоюза» и, как ни странно, буфет Дома учителя. Стояли они в кучке, так что вероятность прямого попадания возрастала втрое. Начал с Дома офицеров. Увидел на крыльце курящих мужиков и понял, что не промахнулся. Взял для начала четыре бутылки. Пивко оказалось свежим. Сижу, размышляю о парадоксах жизни, почему прохладное пиво греет душу приятнее, нежели тёплое, и заодно похваляю себя за удачно завершённую работу на сложном объекте и за то, что утром догадался прихватить рыбки. Есть, конечно, некоторый садизм, когда на твоём столике лежит вяленый волжский синец, а за соседними столиками интеллигенция макает пальцы в солонки

и поглядывает на тебя завистливыми глазами. Интеллигенция завидовать не привыкать, это у них вроде профессиональной болезни. Кстати, волжская вяленая рыба намного лучше сибирской. В Сибири её вялят потрошёной, и она быстро пересыхает. Мне, конечно, можно возразить и напомнить о туруханке или корюшке, но их чаще всего коптят, они слишком жирные, чтобы вялить. А если честно, сам я предпочитаю малосольного тугуна. В общем, об этом я могу долго разговаривать.

Выпил пару бутылок, и подсаживается ко мне журналист Володя Леонтьев. Личность достаточно легендарная.

Попал он в уникальную историю. Шёл податый, мимо проезжал патрульный «луноход» и подобрал больного. Но смена у стражей правопорядка только началась, и он оказался первым пассажиром. Пока разъезжали по городу, собирая «урожай», Володя пришёл в себя, а когда подъехали к вытрезвителю, выскочил первый из машины и стал выводить других алкашей. Вывел, демонстративно пересчитал, доложил, что доставлены без потерь, и бочком-бочком мимо машины и мимо двери. Приняли за дружинника, тем более что внешность у него была весьма представительная, даже за партийного работника среднего звена можно было принять. Историю эту слышал от многих общих знакомых, но герой пересказал специально для меня. Другое вытрезвительное приключение Леонтьева случилось в Дивногорске. Там проводилось совещание молодых литераторов. Ещё на пристани Володю перехватил вечно опальный поэт Рябеченков. Леонтьев, как ни странно, оказался при деньгах, и встреча закончилась вытрезвителем. Взяли красавцев на подступах к гостинице. Кто-то из участников семинара подглядел, как их грузили, прибежал и ударил в набат. Принято считать, что поэты не любят друг друга, но это сказано о маститых, а начинающие бросали в шапку не только рубли, но и трёшки. Выбрали самого красноречивого и отправили платить выкуп. Амнистировали. Но денег в шапке хватило и на то, чтобы отпраздновать освобождение. Уверенные, что снаряды в одну воронку дважды не попадают, решили выпить бутылочку портвейна и пробиваться в гостиницу, чтобы выразить благодарность. Помыслы были чисты, но увлеклись и снова оказались в плену, уже втроём, и красноречие парламентаря не помогло.

Допили. Взяли ещё раз. А когда пошли за очередной добавкой, оно кончилось. Можно было бы и разбежаться, но когда пиво неожиданно кончается перед носом (вроде только что было, рядышком, в трёх шагах... и вдруг исчезло), появляется такая обидица на несправедливость жизни, такое непреодолимое желание найти что-нибудь. Леонтьев намекнул, что у него есть знакомая продавщица, у которой можно взять и после семи. Подошли

к магазину. Дал ему денег, а сам остался на улице. Прогуливаюсь у входа, курю. Выпитое пиво совсем нехватает и не к месту напомнило о себе. Высмагиваю поблизости тёмный закуток и пристраиваюсь в подворотне к глухой стенке. Каюсь. Но повезло, никого из прохожих недостойным поступком не оскорбил. Выскочил из подворотни да, видно, переволновался, потерял бдительность, поскользнулся и растянулся на тротуаре. А когда поднялся, увидел перед собой двух пареньков в форме. Арестовали. Практически трезвого. Ни по прямой не заставляли пройти, ни приседания с вытянутыми руками делать. Получилось, что неспроста Леонтьев ко мне подсел. Нехорошая аура у человека? Или глаз дурной?

Я, разумеется, доказывал, что совершенно трезвый, но не буянил, предложил заплатить штраф и мирно разойтись, но, видимо, чем-то не понравился фельдшеру, мужичонке с бледным костлявым лицом и реденькими жёлтыми усишками. Может, бороде моей позавидовал?

Спать на койке без матраса, застеленной всего лишь клеёнкой, не самое большое удовольствие, но это ещё полбеды. Часа через два после меня притащили плюгавенького мужичонку и бросили на крайнюю койку. Волокли полусонного, потому как он сразу же захрапел. Но какой это был храм! Человечишко с бараньим весом издавал воистину бульдозерный рокот, при этом казалось, что бульдозер пыжится забраться на крутую гору и двигатель его то рычит из последних сил, то глохнет, задыхаясь от злобы. Полжизни по гостиницам отстрадал, но подобного не слышал. Какой-то нервный мужик вскочил со своей койки и перевернул храпуна на живот. На какое-то время бульдозер заглох, а минут через десять снова полез в гору. Мужик ещё раз перевернул его и остался стоять рядом. Храпа не было.

— Ты его, случайно, не придушил? — спросил кто-то из темноты.

— Дышит пока. Но могу.

Кто-то застонал в бреду.

— Если кто обоссется — убью! — рявкнул нервный и вернулся на свою койку.

Вроде алкаш, а покомандовать любит. А может, и не алкаш — мало ли здесь случайных людей? Сбегаю к алкашом не считаю.

И всё-таки задремал.

Утром отдали содержимое карманов, в первую очередь удостоверение по ть и деньги, ничего, кстати, не заныкали — может, потому что в памяти был, даже папиросы вернули. Вредный фельдшер или сменился, или отсыпался. Выпускал меня другой дежурный. Не хочу сказать, что худые мужики обозлены и завистливы, но утренний был упитан и розовощёк. Расплачиваясь за ночлег, я положил лишний червонец и попросил не сообщать на работу. Он молча кивнул.

Ночевать в вытрезвителе хуже, чем у любовницы, но зато не надо ничего придумывать. Однако и правду мою жена слушать не захотела, молча оделась и уехала на работу. Переволновалась за ночь, её понять можно. А мне что делать, если не желают разговаривать? Выпил крепкого чая, за неимением ничего лучшего, и тоже поехал в контору.

Когда проходил мимо приёмной, секретарша окликнула и сказала, что мне велено срочно зайти в отдел кадров треста, и при этом как-то загадочно улыбнулась. А какие тут могут быть загадки? Настигло возмездие. Дежурный из вытрезвителя выполнил свой гражданский долг и сообщил по месту работы. Может, и не он, а тот обзлённый на жизнь фельдшер, который устраивал меня на ночлег. Выяснять не пойдёшь.

От нашего управления до треста около километра. Можно доехать на автобусе, но я отправился пешком, оттягивал неприятный разговор. Кадрами заведовала довольно-таки смазливая бабёнка. После института посидела то ли в конструкторском, то ли в проектно-отделе, поняла всю бесперспективность научной работы и ударилась в комсомольские активистки. Выбралась из-за кулисы на простор, на глаза начальства — и сразу заметили, оценили исполнительность и аккуратность. Не последнюю роль сыграло и приятное личико. Как только появилась вакансия, доверили важный стратегический пост. Кадры решают всё, как утверждал Владимир Ильич. Бреду, размышляю, как себя вести. Если она примется читать мораль о вреде пьянства, стыдить меня, старого кадра, который отмотался безвылазно двенадцать лет по командировкам, меня, которого знают и ценят почти все главные энергетики сибирских рудников, меня, который умел находить общий язык, отстаивая интересы родной фирмы, с самыми скандальными заказчиками, включая Норильский ГОК, — я не постесняюсь послать эту дамочку на три буквы. Высказаться, а потом идти в приёмную и писать заявление на увольнение. Остаться без работы я не боялся, с моим опытом без вопросов взяли бы в любую налаженную контору. Единственное, что терял, — очередь на квартиру, но «телега» из вытрезвителя автоматически отодвигала её на неопределённый срок, если вообще не вышибала из списка. Так что выбора у меня не оставалось.

Прощальную тираду выучил наизусть и успел отрепетировать по дороге. Подхожу к отделу кадров, стучусь в окошко, оттуда выглядывает улыбающееся личико кадровички. Я, сбитый с толку, буркнул дежурное «здрасьте» и услышал произнесённое торжественным голосом:

— Дорогой Сергей Данилович, по итогам пятилетки вы награждаетесь медалью «За трудовое отличие»! Поздравляю вас! Распишитесь, пожалуйста,

в ведомости, а вручение награды будет в торжественной обстановке на День энергетика.

Кстати, у московского чиновника, который прицеплял медаль к лацкану моего пиджака, сильно тряслись руки, но, может быть, и не с похмелья, может, серьёзная болезнь какая-нибудь.

А через полгода я получил квартиру.

Трезвый день

Поздняя осень девяностого. Живу ожиданием первой книги прозы. Наконец-то. И не где-нибудь, а в престижном «Советском писателе». Уже и солидный аванс получил. Инфляция пока ещё не пугает, да и не знаю толком, что она из себя представляет, даже не догадываюсь о её аппетитах. Не советское это понятие. Для человека, рождённого после войны, неизведанное. Хотя советская власть уже трещит по всем швам. Центральные журналы наперегонки печатают Солженицына, Войновича, Аксёнова. Московская знакомая сетует, что купила за червонец полуслепую ксерокопию «Котлована», а через год его напечатали в «Новом мире». Гласность вселяет надежды. От перестройки ещё не устали. Единственное, что напрягает,—сложность с добытием выпивки. Но наш народ и не такие сложности всегда готов преодолеть.

В середине дня, ещё засветло, заявляются два поэта: мой приятель Саша Елишев, а с ним Рашид Зарипов, давний, но не близкий знакомый. У Рашида в кармане полбутылки спирта. Оказалось, что поклонница его творений работает на заводе медпрепаратов и в трудные минуты всегда выручает. На «медпрепаратах» спирт безопасный, но пить я отказался, сослался, что час назад пообедал, а на полный желудок как-то не потягивает. Отговорка не очень убедительная, особенно для тех, кто меня знает, но уговаривать не стали.

— Нам больше достанется,—якобы пошутил Рашид и потребовал закуску.

Нагловатый мужик. Если честно, из-за него я и отказался пить: ходили устойчивые слухи, что он «постукивает». Страхи перед всесильной конторой вроде бы должны остаться во вчерашнем дне. Бывшие правоверные коммунисты дают антисоветские интервью, а бывшие члены крайкома заверяют, что пострадали от советской власти, против которой боролись всю жизнь. Никто ничего не боится. Но приводят к тебе в гости стукача—и чувствуешь себя как-то напряжённо. При этом вовсе не уверен, что он действительно стукач: мало ли что могут наговорить на человека?—а всё-таки невольно начинаешь следить за собой, как бы не сболтнуть лишнего. Но не выгонять же, коли пришли в гости?! Нарезал им хариуса, заправил маслом грибы, поставил две рюмки. Сидим, выпиваем, то есть выпивают они, а я присутствую. Подглядываю, можно сказать. А что остаётся—трезвому? Ходило в интеллигентских

кругах поверье: если человек в незнакомой компании активно ругает власть, значит, он или дурак, или провокатор. Помимо воли прислушиваюсь. Но Рашид говорит только о стихах. Вспомнили недавно открытого для себя Георгия Иванова, его «отвратительный вечный покой». Спору не было—великие стихи. Спирт—зелье коварное, доходит медленно, но резко. Гостей развезло. Голоса стали громче, суждения категоричнее, но никаких политических провокаций Рашид не подбрасывал, напрасно я грешил на ославленного, в том застолье его волновали только стихи, но если Елишев, даже пьяный, больше говорил о чужих, Рашиду приспичило читать свои, выстраданные и недооценённые. И не какую-нибудь лирику, а историческую поэму. Все мы в то время практически не печатались, поэтому многое помнили наизусть. Но, видимо, медицинский алкоголь сыграл злую шутку, и автор запутался уже в прологе. Останавливался, извинялся, обещал вспомнить, начинал сначала, надеясь взять с разгона, и снова упирался в провал. Требовал рюмку для освежения памяти. Хорошо, что бутылка быстро опустела, а желание добавить настойчиво повлекло на поиски.

Проводил.

Можно сказать—выпроводил.

Но не прошло и часа, как заявился новый гость—слава Богу, не поэт. Старый знакомый по работе в наладке Шура Трошев. Ввалился пьяный и, не раздеваясь, вытащил из кармана бутылку. В гости он заходил очень редко, отношения с ним сугубо производственные, но иногда он прихватывал меня на своей «ниве» по грибы. Да и отработали в наладке полтора десятка лет, а наладка—это особая каста, или, как теперь принято называть, «субкультура», в ней даже враги считаются роднёй. Не у каждого хватает терпения много лет подряд мотаться безвылазно по командировкам и жить по месяцу (а то и по два) в рудничных гостиницах с удобствами на дворе.

Трошев—одна из легенд наладки. Имея за плечами заштатный техникум, он, что называется, нутром чувствовал котёл, теоретически объяснить не мог, но всегда находил верное решение. Самый знаменитый подвиг Трошев совершил в Лесосибирске. На тэц комбината смонтировали новую модификацию котла, а запуститься не смогли. Шура накануне сломал шейку бедра и передвигался только на коляске. Вызвали специалистов из Питера. Бились около месяца—и всё без пользы. Дым из трубы пустили, а выйти на проектные параметры не получалось, не тянул агрегат. Ну а пар, как всегда, нужен позарез. И тогда заказчик снарядил санитарную машину, загрузили в неё специалиста в кресле-каталке и повезли за триста километров разруливать аварийную ситуацию. Как пускать большой котёл и вести наладку, сидя

в инвалидном кресле, лично я плохо представляю. Но Трошев справился. Осчастливил город теплом и светом. Когда привезли домой, позвонил и нетвёрдым голосом похвастался, что утёр нос некоторым великим специалистам.

Лет пять он пробыл в Монголии, заработал талон на «Ниву» и приобрёл две вредные привычки: стал выпивать и политизировался. Если пьянство, пусть и с натяжкой, можно связать с жизнью на чужбине, то интересом к политике заразили москвичи, с которыми в Монголии пришлось очень тесно общаться. До отъезда туда он почти не выпивал, был молчун, и, кроме работы, грибов и рыбалки, его ничего не интересовало. Впрочем, и время подошло политизированное. Люди начали читать газеты, а в них сенсационные разоблачения из недавнего прошлого и текущий, густеющий день ото дня криминал, открывающий мирному обывателю шокирующие подробности тюремного быта.

И вот заявляется пьяный приятель и ошарашивает признанием:

— Я убил свою бабу. Спрячь меня, хотя бы до утра. Весёленькое признанье. В какие только передряги не попадал, но даже самые нервные выяснения отношений до убийств не доходили. Стою и не знаю, что сказать, как реагировать. Верить ему страшно, да и не верю я. Точнее, уговариваю себя не верить. Но слово-то громкое, эхо от него застряло в мозгу и не исчезает.

Вот они, издержки разъездной работы. Частые и долгие разлуки укрепляют любовь разве что в дамских романтических стихах. Постоянные командировки семейному счастью не способствуют. И у него, и у неё копятся подозрения, претензии, обиды. Жена у Шуры из тех красавиц, которые постоянно провоцируют мужицкое желание. И вроде как погуливали. Мне казалось, что он об этом давно догадывался. К тому же в последнее время стала и попивать. Частенько запивали на пару. А по пьяни всякое могло случиться. Шура мужик не агрессивный, но пьяная женщина всегда на грани истерики. Украдкой осматриваю гостя: лицо не исцарапано, руки не в крови. Но мужик он здоровый, ручищи тяжеленные, одного удара могло хватить. Отвёл его на кухню, прошу успокоиться и рассказать всё по порядку. Но ничего фленораздельного, даже ругани в адрес жены, не слышу. Бормочет, что ему нельзя в тюрьму, он там не выживет. Пытаюсь разузнать, что же всё-таки произошло, а он всё про тюрьму, в которую боится попасть. Языком еле ворочает. От чая отвернулся. Показал пальцем на водку и тут же забыл про неё. Когда голова свалилась на грудь, я спрятал бутылку в холодильник. Он мутно посмотрел ей вслед, но ничего не сказал. До дивана вёл полусонного. Уложил, перекурил и сам успокоился. Твёрдо уверовал, что никакого смертоубийства

не случилось. Желание, наверное, было, но вовремя уехал, а пьяные мозги дорисовали желаемое.

Вспор и самому было выпить от избытка впечатлений. Открыл холодильник, подержал бутылку в руках, но пить чужую дефицитную водку постеснялся. Налил себе чая, благо что не успел остыть.

А часам к одиннадцати явился ещё один гость. Звонок был долгий и настойчивый. Откровенно пьяный звонок. Первое, что подумал: «убиенная» жена явилась забирать поллитровку, украденную мужем. Не угадал. На пороге стоял прозаик Шамко. На днях ему прислали договор из московского издательства. Рукопись, вылежавшая два срока и в собственном столе, и в редакционном, наконец-то получила одобрение. Как тут не загулять? Сам прошёл через эту изнурительную пытку безнадёгой. Чем длиннее эта полоса, тем сильнее перепад собственного отношения к неизданной книге от ненависти до нежнейшей любви. Но мне было всё-таки немного проще. Мой праздник пришёл в сорок лет, а ему перевалило за полтинник. Когда запоздалая радость приходит в критическом возрасте, одной бутылкой не обойдёшься. И одним днём — тоже. Начал дома, не хватило, пошёл искать — до боли знакомый сценарий.

— У тебя есть? — спросил прямо с порога. Лицо страдальческое, голос робкий, но переполненный надеждой. Разочаровывать было жалко, но водку, спрятанную в холодильник, принёс Шура. Я знал, что ночью он обязательно проснётся и ему будет намного тяжелее, чем брату-писателю. У одного — всего лишь затянувшийся загул, у другого — жуткий кошмар с убийством. И я соврал, что спиртного в доме нет, кроме одеколона, но Шамко парфюмерию не употреблял. Предложил чаю. Продолжать почти безнадёжные поиски, выходить на улицу и куда-то ехать сил, видимо, не осталось, и он смирился. Крепкий чай отогрел и приглушил похмелье.

Ещё до выхода книги он начал второй роман и жил уже в новом замысле. В молодости ему выпали долгие мытарства в Москве среди лимитчиков, о них он и задумал написать. Материала было очень много. Ствол сюжета обрастал ветвями, герои, для полноты картины, постоянно требовали расширить своё окружение, роман грозился разрастись в эпопею объёмом в «Тихий Дон». Он пытался пересказать какие-то сюжетные линии, но сам в них путался, а я тем более. Впрочем, проза, которую он писал, пересказу не поддаётся, потому как держится не на сюжете, а на ярком языке, перенасыщенном неожиданными образами. Я всегда говорил, что ему надо писать стихи, а не романы. Представьте себе, что вам кто-то попытается пересказать Пастернака. Приблизительно так же звучал и пересказ его ненаписанного романа. Пьяный фантазирует, путая не только имена

героев, но и эпизоды, а мне, трезвому, приходится слушать этот бессвязный бред и соглашаться. Сочинитель увлёкся, голос набрал силу и разбудил «убийцу». Укладывал Трошева еле живого, однако про бутылку тот вспомнил сразу, как проснулся. Для него спасательный круг, а для меня позорный крик. Пришлось оправдываться перед Шамко (так, мол, и так — не имел права распоряжаться чужой водкой). Человек он не мелочный, всё понял правильно, да и не до обид, если вождеденная бутылка среди ночи появилась на столе. Выпили они за знакомство, и писатель, увлечённый своим детищем, продолжил пересказывать ненаписанный роман. Если я ничего не понимал, то Шура тем более. Послушал минут пять и в тоске снова взялся за бутылку. Шамко опрокинул в себя рюмку и, не отвлекаясь на закуску, продолжил токовать, не обращая внимания на человека, угостившего его водкой. Шуру такое отношение обидело, не привык он, чтобы его не замечали, отзывает меня в комнату и спрашивает, что за фрукт появился в квартире, пока он спал. Объясняю, что с нами сидит интересный писатель, у которого скоро выйдет роман в столичном издательстве. Должного впечатления информация не произвела, и он предлагает гнать болтуна к такой-то матери. Говорю, что не могу выставить гостя среди ночи.

Возвращаемся к столу. Они выпивают. Я рассказываю писателю, что перед ним сидит знаменитый наладчик, лучший специалист по котлам от Урала до Чукотки, гений своего дела. Сам Шамко тоже считал себя гениальным прозаиком и не совсем

без основания, восторженных словес от собратьев по отверженности наслушаться успел достаточно, жил большими надеждами на ближайшее будущее. Мои слова про инженерную гениальность его не зацепили. Вот если бы я шепнул, что Шура этим вечером убил свою жену и прячется у меня от ареста, тогда бы писатель, может быть, и заинтересовался. Но я не стал интриговать. К тому времени я был абсолютно уверен, что мнимый убийца успел забыть, что наплёл мне вечером. Пока я живописал его наладческие подвиги, не скажу, что Шура млел от самолюбования, но и не останавливал меня, изредка поправлял, если я ошибался в деталях. Но на Шамко мои восторженные истории впечатления не произвели. Это был чужой герой, для которого в новом романе места не было. Когда Шура вышел в туалет, Шамко придвинулся ко мне и зашептал:

— А чего он здесь делает? Гони его, и поговорим в нормальной обстановке.

— Нельзя, — говорю, — пьяный, или подерётся с кем-нибудь, или замёрзнет.

Шамко такая забота почему-то не понравилась. Обиделся и отвернулся к окну. Шура тоже насунился. Сидят молча и смотрят в разные стороны. И сам я боюсь заводить разговор. Хватит. Наслушался. Притих между ними, ни разу не гений, трезвый, а голова раскалывается, как после тяжёлого похмелья.

В шесть утра пошли автобусы, выпроводил обоих.

И так захотелось выпить.

Но взять было негде. Одеколон тоже не пью.